

Володя ЗЛОБИН

СНЕГ ПОШЕЛ

Р а с с к а з

Ивана мотало в набитой барахлом «шестерке». Со всех сторон поджимали упаковки энергетика, спальные, коробки, и на каждом ухабе, когда в цинках¹ нетерпеливо вздрагивали патроны, Иван спрашивал себя — почему они едут на передок, как на драчку в соседнее село? Угадав вопрос новичка, водитель весело прокричал:

— Зато не прилетит!

Иван взаимосвязи не уловил. Он посмотрел на дальний, чуть грозный рассвет, от которого степь бросала долгую желто-черную полутьму. Мягкие перепады равнин были покрыты воронками, словно кто-то ожесточенный повыдергал неизвестные растения. От всего шел звук, жизнь и тепло: степь торопилась успеть до жары, и накаляющаяся машина из всех сил спешила к посадке. Там ждал взводный, который придирчиво осмотрел вывалившегося из «шестерки» Ивана:

— Так, чтобы тик-токи здесь не снимал, понял?

Под такое приветствие Иван впервые в жизни ступил в окопы. Взводный устроил беглый допрос — умеешь водить, шарить в компах, паять, кашеварить, класть печи, чинить бензопилы, столярить, копаться в моторах, соображать в электронике, хоть что-нибудь вообще умеешь или ты просто залетное тело? Иван сказал, что ходил в тир и умеет стрелять, а ему, поморщившись, объяснили, что это вообще ни о чем, даже дети джунглей так могут, сегодня же иди к тяжелым расчетам учиться устраивать переполох, вы там в песочнице с чем игрались вообще?

Наконец, внимание привлекла снаряга Ивана.

— Ну у тебя и баул! У тебя там что, мамин холодос?.. Плитник тебе зачем? Спецназер типа? А теплак у тебя есть? Нет? Ну и зачем ты нам такой нужен? Вместо плитника лучше бы теплак купил. У нас один всего. Как ночь — хоть увольняйся. А броню мы б тебе подогнали.

Иван хотел ответить, что теплак дорогой, а к плитнику у него есть защитные модули, но потерялся из-за следующего вопроса.

— Ну, может, выход на волонтеров имеешь?

— С чего бы?

¹ Цинк — металлическая коробка для транспортировки и хранения патронов.

— Ты весь такой... как бы... модный такой, современный.

Командир неодобрительно посмотрел на бороду Ивана. Бойцы на передовой ходили с тусклой пыльной щетиной, и взводный — конечно, из кадровых — ворчал. Он скреб себя каждый день, словно хотел походить на обожженную голую степь, и был красный, обветренный, с сорванным хриплым голосом. Иван смущенно сказал, что он вовсе не современный, а верующий, за други своя приехал, после долгой беседы с задумчивым батюшкой. И телефона у него нет, только кнопочная звонилка, так что...

— Ладно, Борода! — провозгласил взводный. — Знакомься, устраивайся. Вечером первое боевое задание. — И уже снаружи укрытия закричал: — Какая сука опять окоп проссала?! Чё вы как свиньи? Ну дойдите до толкана!

Парень не стал возражать, что на полигоне уже взял позывной, и не этот, другой. «Боевое задание» так взбудоражило кровь, что в суматохе Иван не заметил подступивших сумерек. Взводный вызвал его к трем бойцам. Они стояли у изогнутой тележки с большими колесами.

— Так, воины! У нас пополнение. Объясните там, что к чему. И да: кто к Ярынке сунется — ляжку прострелю, это понятно?

Мужики неопределенно заворчали. В тележке лежали пластиковые пятилитрушки, дерюга, веревки. Когда взводный ушел, к Ивану подскочил боец лет сорока: худой, затемненный, с ножевым блеском в глазах.

— Здарова, паря! Ты заверни в село, пацаны там подскажут тебе. Купишь вот. — Он протянул обтерханные купюры.

— Чего купить-то? — не понял Иван.

Темный исчез. Один из солдат сплюнул:

— Ты Окуню ничего не покупай. И броню сними, упреешь.

— Не-не. — Иван вцепился в снарягу. — Не.

— Смотри, я ее на телеге не повезу.

Через час Иван выдохся, а они даже не дошли до ручья. За ним была деревня на полсотни домов, где едва теплилась жизнь. Хитрая бабка Ярынка продавала там самогон для всех окрестных позиций. Его-то и попросил купить Окунь.

— И что, много пьют? — уточнил Иван.

— Ну так, не особо. Пряма вот чтоб аватаров нет.

Когда они спустились к водопою, Иван подумал, что натопанное место наверняка приметили и сюда могут привести артиллерию. Тележку заставили бутылками, накинув на плечи по две пятилитровки. Груз толкали по очереди. Иван хрипел, колени и спину ломило, а пропитавший белье пот омерзительно напоминал, что даже по прибытии ничего не закончится. Почему воду не привезли на той «шестерке» с днищем из папье-маше? Почему вырыли опорник так далеко от ручья? В ответ хмыкнули: потому что армия — это не как положено, а как получится. Товарищи шли налегке, двое даже без оружия, словно не боялись засады. С каждым шагом Ивану все мучительнее хотелось налета, чтобы он мог обреченно свалиться в траву, к стрекотавшим по кому-то кузнечикам.

На позициях их обшмонал взводный. Когда командир ушел, вынырнул Окунь:

— Молодец! Молодец! Ты смысленный... Сныкал, да? Пойдем, покажешь.

— Так, — Иван еле отдышался, — я не пью и тебе не советую. Ничего покупать я не буду. Вот деньги.

Окунь нехорошо сощурился и процедил:

— Себе оставь.

Деньги Иван сдал в общак: отряду был нужен новый генератор.

Потянулись боевые будни. Оборонял опорник неполный пехотный взвод — всего человек двадцать, зарывшихся в иссеченной артиллерией лесополосе. Через заминированное поле в такой же увечной посадке засел противник. Окопы больше напоминали норы, перекрытые сетками, бревнами, толстыми ветками, даже рабицей, — в небе круглые сутки жужжали мелкие гады с гранатами, а по ночам прилетало разлапистое чудище с минами. Беспилотники держали в постоянном напряжении, из-за чего все, не сговариваясь, называли их пидорами. Почему беспилотники называли пидорами? Потому что у них не было никаких принципов. «Чей пидор летает?» — вопрошала дешевая неуставная рация. Если беспилотник был своим, владелец уточнял: «Я — такой-то, пидор мой». Однажды дроновод с нежным позывным Воробушек забылся и все перепутал: «Я — пидор, Воробушек мой». Посадка сотрясалась от хохота до самого вечера. Иван впервые понял силу военного смеха — беззлобного и живого.

Раз в пару дней прилетало с десятков снарядов. В ответ арта тоже накидывала куда-то туда, и поле прирастало новыми воронками. Мины клались точнее — набившись в укрепленный блиндаж, бойцы рассказывали, что хороший минометчик со второго выстрела попадает в расстеленную за полтора километра простынь. Среди жары, терпкого солдатского духа и свиста Ивану казалось, что, если мина взметнет укрытие, его, как покойника, завернут в эту простынь и понесут отпевать.

Вскоре он привык к присанным стенкам окопа, к песку в макаронах и даже к несварению от местной воды. Пить только кипяченую или отаблеченную он догадался только после стремительного бега в уборную. Все вокруг было как в подростковой книжке: в новинку и с чуточкой настоящей опасности.

Только Окунь постоянно цеплялся к Ивану. Поводом была его борода. Ивану прямо сказали, что бородатыми живут одни чуханы. Парень хотел привести в пример любого святого, но решил не пачкать их имена. Сказал только — верующий. Окунь ответил — тоже. И провел прокуренным желтым ногтем по шраму на смуглой щеке.

— А это что за слюнявчик?

Окунь указал на напашник. Взвод носил неброские армейские бронежилеты. Иван, напротив, тяжело обвесил себя: прицепил к плитнику горжет, даже наплечники, и неповоротливо, как средневековый рыцарь, втискивался в ходы сообщений. Над парнем добродушно посмеивались, а взводный однажды простучал выдернутую из чехла плиту:

— Тебя не надурили? Не страйкбольная? Отстреливал?

Конечно, Иван ничего не отстреливал. Если бы кого и пришлось — лучше Окуня. Было в нем то ли гаденькое, то ли подленькое, и то, что между этими словами вдруг находилась разница, вполне характеризовало обидчика.

— А ты, получается, неверующий, — насмешливо заключил Окунь.

— Почему это? — вскинулся Иван.

Окунь плотоядно улыбнулся — так улыбаются, когда нащупали болезненное место.

— От судьбы броня не уберезжет.

Иван напомнил, что воля бьет случай, но Окунь так естественно выставил голову за обкладку, что на несколько секунд Иван поддался столь беспечному богословию. Без шлема, с пятнами ранней седины, Окунь высунулся прямо в небо и был ожален обжигающей синевой. Лицо его налилось благостными тенями.

— Погодка-то, а?

Окунь был из первой волны, местный, пошедший воевать из тюрьмы и успевший снова в ней посидеть. За все эти годы он не получил ни одного серьезного ранения. Только в самом начале какой-то требовательный командир прострелил ему ногу за синьку. В доказательство Окунь показывал маленький белесый узелок от пушечной пули. Он все время называл чьи-то забытые позывные и, как юную любовницу, мечтательно вспоминал раннюю анархию, когда автоматы выдавали по паспортам, а если документов не было — то ничего, можно было и так. Окунь умел вовремя потеряться и так же вовремя найтись, что-то вымутить и избежать за это ответственности. Если пропадала чья-то вещь, все в первый миг думали: «Окунь», а во второй признавались: «Да нет, он не мог». С Окунем никто не был близок, но в бою его ценили за дерзкую руку. К тому же он вселял надежду, что выжить можно всегда и везде. Даже на длинной дистанции. Окунь в ответ подкалывал молодых — тех, кто был на войне месяц, полгода, год.

Ивана подначивали, как самого юного. Он страстно хотел отличиться, но взвод сидел в глухой обороне. Никто не тревожил вражеские позиции, немногочисленную технику отогнали в тыл. Даже снабженческую «шестерку» держали подальше от передка. Если не брать в расчет пидоров, молчал и противник. Только иногда небрежно сплевывала артиллерия — как кожуру от семечек, всё мимо. День за днем Иван томился в слоеном пироге безымянных посадок. Сослуживцы благословляли затишье. «Терпилы», — все чаще повторял Иван любимое Окунем слово.

А ведь на сборном пункте — таком, где не плачут женщины, — Ивану повстречались настоящие добровольцы. Веселые даже по меркам южного гульбища, мускулистые, в хорошей снаряге, с рыжими разбойничьими бородами и тату, язычники ехали на праздник, где их давно заждались. Они звали Ивана с собой, а он, сжимая крест, отказался, и уже без него гулял по степи мужской смех, сверкали хищные белые зубы, и не получалось ответить, чего в мире больше — задора или летнего солнца.

Просиживая в отхожем месте из-за незнакомой воды, Иван все чаще думал, что нужно было разжать руку и с теми язычниками, наверняка штурмовиками, — в самое пекло, а там разберутся...

Окунь первым почуял неладное.

— Суета, — мрачно изрек он.

На позиции приехал чужой офицер, который долго срисовывал местность. После него взводный громче раздавал нагоняи. Солдаты хмурились и усерднее долбили землю. А в сумерках на опорник зашел потрепанный взвод батальонной разведки. Он собирался кошмарить противника.

— Карта нормальная или как всегда? — спросил командир про карту минных полей.

Разведчики имели вид усталых людей, которых постоянно дергают решать проблемы. Отряд Ивана блек на их фоне, напоминал мужиков на рыбалке, втайне от товарищей мечтавших поскорей вернуться домой. А настоящие воины были здесь — молодые, чертовски жилистые, со спокойными лицами, они расслабленно привалились к стенкам окопов и зачем-то обвязывали гранаты тряпками, словно знали тайный бабушкин рецепт. Несмотря на то, что он уже не раз попадал под обстрел, Иван впервые почувствовал дрожь настоящей войны — близкое молчаливое убийство.

Командир разведгруппы просил добровольцев для прикрытия, но взводный пошел в отказ — вы уйдете, а мне еще опорник держать, каждый боец на счету.

— Ну хоть группу обеспечения ты мне выделишь? У меня парней повыбило.

Взводный неохотно кивнул. Иван первым вызвался носить бэка² и, если что, раненых.

Разведчик оглядел его и одобрительно хмыкнул:

— С таким настроем тебе к нам надо. Ты говори. Если что, заберу.

До самой атаки с лица Ивана не сходила глупая улыбка: как равного, его похвалил настоящий солдат.

Из темноты протянулась рука с наколками.

— Первоход, ты куда прешь вообще? Им на тебя плевать. Ты для них расходник, торпеда. Не лезь с ними на короток — кончишься.

Неожиданно для себя Иван расвирепел и разразился матом.

— Ты не понимаешь, что ли? — зашипел Окунь. — Они опорник раздракуют, а прилетит по нам.

— Это война, — пожал плечами Иван.

— Да, это война, — усмехнулся Окунь.

Разведчики ушли. После томительного ожидания раздался взрыв, затем — еще один, и защелкала стрелкотня. Передовой дозор подорвался на минах. Во тьму сразу же нырнула группа эвакуации. Иван окунулся в тот обжигающий океан страха, который отступает с каждым сделанным гребком и начинает согревать и подталкивать, если веришь, что способен доплыть до другого берега.

² Бэка — БК, боекомплект.

Мир был громким и тесным. Иван быстро сообразил: если пуля бьет коротко, рассерженно, зло, значит — по тебе, рядом, но если пуля разочарованно режет воздух, токует и плачет — ей жалко, что она далеко от людей. Навстречу уже волокли раненых, и бросившийся помогать Иван только добавил неразберихи. Тогда он встал на колени и начал стрелять в сторону вражеской посадки. На него тут же заорали и всекли по шлему — еще до толчка Иван догадался, что выдает местонахождение. Пули стали резвее, мат — громче, и Иван растерянно замер, медленно отдавая себя во власть стыда. «Теперь не возьмут, не возьмут, не возьмут!» — билось внутри. Ему захотелось все исправить, он заоглядывался и понял, что раненые сбросили снарягу, но товарищи забрали только оружие. Он бросился по следу, не думая о минах и пулеметном огне. Вереница пуль выбилась откуда-то из-под земли, словно ждала там и выскочила раньше времени. Мелкие камешки ударили по лицу. Иван откатился, потерял ориентир и, проплутав, лишь чудом наткнулся на две темные окровавленные кучи, похожие на разлохмаченную кожуру. Как людей, Иван потащил их к окопам.

Парень свалился в них, когда к стрелкотне подключились минометы. Они сразу зажгли генераторную, и ночь стала еще черней от клубов маслянистого дыма. Снаряды тридцатимиллиметровой пушки с воющим рикошетом расщепили деревья. Иван заполз в нору, у которой уже был хозяин, и переживал обстрел с поразившей его надеждой: теперь никто не вспомнит его оплошности. Он предвкушал благодарность разведчиков, но один из них, принимая обмундирование, покачал головой:

— Снаряга должна быть как шкура, которую не жалко сбросить. Слишком дорогая будет стоить жизни.

Разведчики забрали своих и чужих раненых. К утру прикатила «шестерка», куда юркнул совершенно здоровый Окунь. Машина тут же запыхала с позиций. Взводный долго распекал Ивана. Смысл его слов сводился к тому, что вот так необоснованно везет только раз, в первые дни, словно каждый приезжает на передок с запасной жизнью, и не нужно думать, что так будет всегда. Иван кивал, хотя относился к везению с предубежденностью веры. Следующий день взвод восстанавливал окопы, пилил, откапывал. Иван так умаялся, что даже не заметил, как его желудок впервые выдержал местную воду.

А потом начался обстрел.

Над посадкой зависло сразу несколько пидоров, которые сделали свое черное дело. Окоп колыхнуло, земля поднялась — и не верилось, что есть сила, которая может вздыбить лежалую, перекрученную корнями землю, так неохотно поддававшуюся лопате. До Ивана не сразу дошло, что это не попали, это только рядом, и что же будет, когда попадут, если даже от промаха землю содрогнуло и повело? Он забежал в блиндаж, где на приникших людей с потолка лился серый земляной дождь, словно каждому на шлем тонкой струйкой ссыпали пепел. Никто не разговаривал и не шутил — люди притихли, стали похожими на животных, почуявших близкую смерть, а землю дергало, будто она оказалась в руках страшной, ненавидящей всех великанши.

Иван ощутил себя настолько маленьким и ничтожным, что зашептал молитву, а когда ее семена не дали всходов, понял, что читал молитву как заклинание, с верой в один только магический ритуал. Перейдя к псалмам, торжественным и обещающим, с меньшей, чем в молитвах, тихостью, Иван попытался перебить гром громом, укрыться за чем-то большим и величественным. Но ведь это он шел грудью вперед! Это он мечтал заслонять! И когда после Иван ходил по разбитым окопам, помогая раненым и относя убитых, то понимал, что крещение не обожгло его, а ожгло.

Чтобы не думать о себе, Иван начал присматриваться к окружающим.

Взводный был преисполнен суровой заботой. Ему не хватало бойцов, времени и, самое главное, злобы — мат его был беспокойным, опасаящимся за людей, и взводный производил впечатление человека, обреченного прыгнуть в огонь. В блиндаже лежал доброволец-белолетник, от болячек которого мучился весь отряд. Он страдал то почками, то спиной и доставлял больше неудобств, чем пользы. На всю ругань он отвечал, что должен быть на передовой, с пацанами. Его с любовью звали Овощем, в той странной благодарности, какая бывает к необязательному страданию. «Что, лежит Овощ?» — спрашивали после разлуки. «Лежит», — говорили в ответ, и мир становился чуть предсказуемее. Дроноведа Воробушка все упорно кликали Воробьем, а он, из столицы, с жутко оплачиваемой работой, носил в платочке вынутую из уха серьгу и запускал своего пидора в небо. Воробушек со смехом рассказывал, как на него обиделась снайперская пара: посмотрев видео со сбросами, снайперы мрачно заметили — когда-нибудь дронов станет так много, что вы еще с тоской вспомните нас.

Обстрелы продолжались. В ответ на передок прикатил танк. Он раздолбал посадку и, ревя турбиной, уполз обратно. Наступило затишье, нарушаемое лишь привычными ударами по расписанию. Их встретили с облегчением, хотя Иван желал встряски и если уж смерти — такой, чтоб вдруг, без напрасных пред ней вопросов. Еще лучше — в режущем кинжальном бою. А сидеть и ловить снаряды — повезет, не повезет?.. — в этом не было предназначения, на месте Ивана мог быть любой — трус, даже неверующий, — и парню хотелось настоящей войны.

Как только все успокоилось, на попутке вернулся Окунь. Он притащил новый генератор и вальяжно объявил, что «шестерку» раструсило в ДТП с посетителем клуба анонимных алкоголиков. Взводный тяжело посмотрел на Окуня. Ивану было любопытно, где тот родит новый автомобиль, но Окунь вел себя как обычно. Он беззаботно болтал с сослуживцами, все чаще приседая на уши одному угрюмому мужику, которому втолковывал о необходимости уделять на людское. Вскоре тот отписал подразделению оставшуюся у него на гражданке «буханку».

Озlobившийся противник тоже решил совершить вылазку.

Ночью, когда Иван стоял на пулемете, по радиии передали: «Движение на два часа». Он дал очередь, и гильзы радостно вылетели вперед, словно хотели догнать пули и тоже кого-нибудь приложить. Нейтралка заговорила, там начали рваться мины, пошла ответная стрелкотня. Она

была так высоко, словно люди не хотели убивать друг друга. После боя с ничейной земли донесся отчетливый стон.

— Гори в чертилове! — весело заорал Окунь. — Борода, давай лезь за ним!

Раньше он и правда бы слазил, но за недели, проведенные на передке, в Иване окрепло другое милосердие.

— Надо дострелить, — предложил он.

— Не-е-е, — ослабился Окунь, — пусть дотекает.

Иван поежился. Окунь часто использовал страшные слова. Вместо «отчаянный» он говорил «отчаюга». «Двухсотых» называл «холодными». «Ощуч» заменял «ощущение». Противника Окунь исключительно «уестествовал». И вот — «дотечь»... Слово поражало беспощадной устремленностью, каким-то неизбежным уходом жизни, ее выкапыванием.

— Давайте я с пидора добыю, — нашелся Воробушек.

— Вдруг вытаскивать полезут? — помечтал взводный.

Раненый продолжал стонать — неподдельно, искренне, с той недоуменной болью, какая вырывает из груди плач. Он не мог ничего унять и был полон напрасной надежды. В стоне человек разучивался говорить, разом лишался языка, от которого оставались только протяжные животные ноты.

— Это надо прекратить, — твердо сказал Иван.

— Нет, — отозвался хор.

Иван понимал необходимость зла — они могли накрыть группу эвакуации или вытребовать за безопасный проход вражеских ништяков, — но не мог принять его. К стонам умирающего прислонился умысел, и то, что животный скулеж был подчинен логике, делало его невыносимым.

Как невидимый водный столб, Ивана продавила тяжесть. Он должен был разогнуть ее — вопреки товарищам, за противника, в том бессмысленном подвиге, после которого не остается ни своих, ни чужих. Нужно было только пошевелить рукой или чуть сдвинуть онемевшую ногу, выбраться из-под давящего столба, а дальше само, на легкости, на счастье оттого, что смог. Но Иван стоял. Тяжесть давила. В ней все было плавно, замедленно и предрешено. Это был сам ход вещей, ставший до того явным, что ему было не страшно, а странно противиться, словно выступал против законов физики.

Иван слушал, как дотекает человек.

И он дотек. Как река, которая могла кончиться.

В землянке Ивана нашел Окунь. Он рассказал о ком-то из прошлого, о псаломщике, который был в их отряде и наотрез отказался брать в руки оружие. Дьяк готовил, подносил «бомбрики», однажды сел за рычаги мотолыги и понесся на ней через минное поле за ранеными — вот сегодня, будь у них такой дьяк, он бы тоже не убоился долины³.

— И к чему ты мне это рассказываешь?

— Если взялся за плетку — не строй из себя целку.

³ Отсылка к Псалму 22: «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной...»

— Всегда можно остаться человеком, — возразил Иван.

Казалось, Окунь ответит хлестко, но тот оставил Ивана наедине. По совести, Иван должен был быть как тот неизвестный, может, даже выдуманный дьячок. Но ведь и тот замарался: накорми — отряд станет охоч до войны, протяни кабель — по нему полетит приказ, даже раненый может вернуться в строй и убить. Иван прекрасно знал, как на это отвечает учение, и уже использовал волю, чтобы приискать себе меч. Он был готов погибнуть от него, принять колючий мученический венец, который был потому желанен, что все б навсегда простил.

Он помнил, как на полигоне их поучал немного безумный солдат:

— Сделайте зубы! Война — это зубы. И ноги. Как следует распарьте ноги и выстрижьте все заусенцы.

Ветеран заглянул в былое и повторил:

— Война — это зубы. И ноги.

Уже после Иван думал, что в античности мог быть такой бог — идеальные зубы на крепких мускулистых ногах. Белые зубы на черном круглом щите.

Вокруг как раз верили во что-то подобное.

По полям сгнил урожай, и повсюду кишели мыши: грызли тапки, ремни, изоляцию, заставляли дуреть окопных котов. Воробушек говорил, что в соседней посадке на одном из тополей висит чучело совы: трупом хищницы отпугивали мышей. Иван считал это отговоркой. На самом деле имела место древняя тотемическая страсть людей искать себе защитника. Чтобы не принесли в жертву тебя, надо подsunуть звероликой судьбе кого-то другого. Мир солдата был простым миром магизма, в нем было очень трудно хранить сложную веру. Военный быт стремился к отточенному ритуалу, беспрекословное выполнение которого обещало сохранить жизнь, и бойцы добавляли к требованиям устава свои собственные обряды. Взводный каждый день скреб лицо, а Воробушек перед запуском целовал беспилотник. Даже Овощ пил таблетки по какому-то хитрому соизмерению — по рецепту, говорил он, не работают, а вот на глазок еще как.

Иван старался этого избегать. Он соблюдал утреннее и вечернее правила, прекращая их, если чувствовал, что опять выталкивает заклинание. Когда в нагрудную плиту прилетел заблудившийся осколок, он счел это счастливой случайностью. В животе от нее стало так ледяно, как ни разу не случалось зимой, и потом долго, со смехом, оттаивало.

— Фартовый, — одобрительно заметил Окунь.

У него тоже не было ритуалов. Окунь верил в судьбу.

К концу лета, в близких дождях, на позицию выбрел человек. Среди бела дня, с оружием, ошалелый, он каким-то образом преодолел минное поле, где подорвались две разведгруппы. Разгадка была проста — чужая Ярынка, обеспечивающая фронт противника, сбила бойца с пути. Он наткнулся прямо на Ивана: весьма охотно избавился от автомата и не очень охотно — от канистры.

— О-о-о, прибаранился! — пропел Окунь при виде пленного. — Пойдем, дружок, все мне рассказывать.

Было в тоне Окуня что-то нехорошее. Пленный почувствовал это и начал лепетать посылно-поварские оправдания. Окунь мурлыкал от удовольствия. Он даже не стал возмущаться, когда взводный пнул канистру и на землю с бульканьем вытек спирт.

— Ливер, ливер-ливвер... — напевал Окунь.

Взводный одобрительно хлопнул Ивана по плечу, и тот осознал простую истину: нельзя молчать, когда человека уводят в погреб. В блиндаже раскроются настоящие таланты Окуня: он принесет с собой что-нибудь жуткое — клацающий какой секатор, — пощелкает и разговорит, а потом отведет в дальний конец посадки, к помойке с битыми банками консервированного сала, и щелкнет уже затвором.

На плечи опять лег невидимый столб. Он обволакивал, пригибал. На этот раз Иван пошевелился, вытолкнулся из него, но не для того, чтобы сойти в блиндаж. Там тьма внешняя и скрежет зубовой, там уже никого не спасти. Иван спустился в низинку, где разрослись кушери⁴ из бурьяна, дикой конопли и настырного клена. Иван двинулся дальше, в непролазные заросли чертополоха, которые не смогли выкосить минометы. Бойцовое растение сразу ободрало лицо. Иван не обиделся — это был честный цветок, стебли его не таили яд. Жесткая шипастая держава оканчивалась мягкой пурпурной метелкой. Чертополох напоминал войну: тощий, самовольный, в шипах и истерзанных листьях, он распахивался багровой раной, какую раскрывает осколок. С каждой вонзенной колючкой Ивану становилось легче. Чертополох что-то выпускал из него, стравливал скопившееся давление, которое и было тем столбом, что припечатывало Ивана. Он обхватил колени и затаился среди сорняка, будто что-то натворил в отцовском саду и не хотел быть пойманным.

Иван выполз из зарослей, только когда его хватились и началась перекличка. Взводный всек за оставленную позицию. Окунь сразу все понял и крикнул:

— Да в штаб его отправили, кому он нужен!

Со стороны то ли иронично, то ли серьезно добавили:

— Ага, в штаб!

В тот же день Иван подстриг бороду — не сбрил, а именно подстриг, чтобы от ладони остался палец. Будто дождавшись, война сразу же изменилась, сбросив поредевший взвод с насиженной позиции.

Их перевели на новый участок. Затем на еще один. Они окапывались и снимались. Мимо брошенного поля подсолнечника Иван сходил в свой первый накат. Затем отбил несколько. Сгоревшая самоходка напомнила ему околевшую рыжую псину. Он вместе со всеми брал и отдавал придорожные растянушки⁵, узнал, что такое буссоль⁶, и попал в поле под удар артиллерии. Легкая контузия окончательно вытрясла из Ивана все лишнее, превратив войну в размеренный труд.

Настала осень. Степь лежала голая, неинтересная. Умным снарядам, сэкономленным на «шестерке», противник разнес лежку Воробушка.

⁴ *Кушери* — заросли.

⁵ *Растянушка* — населенный пункт, вытянувшийся вдоль дороги.

⁶ *Буссоль* — артиллерийский измерительный прибор.

Тяжело раненного, его отправили в тыл. Вконец заматавшийся взводный перестал бриться. Все ждали вражеского наступления, и без помощи пидоров приходилось по старинке засиживать наблюдательные посты. Один из них попытался вырезать противник — напарник моментально сбежал, бросив Овоща. Тот знал, что не сумеет доковылять до посадки, обложился гранатами, остался биться и победил.

— Нельзя вечно жить испуганным, — объяснил это Овощ.

Его имя было Сергей.

Ивана поставили в секрет вместе с Окунем. У последнего была рация и старенький монокуляр. Он с усмешкой наблюдал, как Иван намечает сектор стрельбы двумя обструганными веточками. Вдалеке, будто вспахивая что-то, мирно работал автоматический гранатомет: «Тух-тух-тух». С неба иногда срывалась тяжелая капля, которая разбивалась о лист кровельного железа, прикрывавший воронку с секретом.

— Погодка-то, а? — начал Окунь.

Иван не ответил.

— Тебя как в студень ужалили, — заметил Окунь. — Шаровым стал — все высматриваешь кого-то. Глаза спасибо не скажут.

От монокуляра и вправду разболелась голова. Иван потерял веки. Он знал, что Окунь попросил поставить их вместе и сейчас, в нарушении всех правил, будет болтать и, может, закурит.

Окунь спрятал монокуляр:

— Я ж тебя сразу приметил, когда ты из «шохи» вышел. Заезжий гастролер не туда приехал. Таких за калиткой много. Так всего боятся, что все время бодрствуют. Накрутят себя, скандал, дым... Таким сторож нужен.

Иван поморщился. Он сжился с Окунем, как с занозой, и на людях почти не думал о ней, но в затишье она снова начинала колоть, и хотелось вырвать ее, пусть даже и с мясом. Окунь опять был без шлема, в одной только флисовой шапке, и вел себя так, будто не могло случиться плохого. За показным безразличием таилась хитрость, с которой Окунь слинял с позиций, как только на горизонте замаячил обстрел. Появилась та мысль о мести, которая часто посещает в безлюдных местах. Иван погромел ей, как барбариской, и сплюнул, не раскусив.

— Ночник дай, — сказал он.

— Ты думаешь, что понял тут все, да? — продолжал Окунь. — А я тебе так скажу: здесь вообще не для головы занятие. Что бы там мудрили ни плели, флажок там или земля — это так, ерунда. Не главное. С той стороны тебе тоже про детей скажут.

— А что главное? — с усмешкой спросил Иван. — Ощуч?

Окунь противно захихикал, словно знал правильный ответ и не собирался им делиться. Иван с брезгливостью смотрел на черного безродного пьяницу. В нем было что-то мелкое, неприятное тем, что оно прыгало и ускользало, появляясь то в глазах, то в ухмылке. Словно бесискусшал слухавить, увильнуть и особенно — прикрыть глаза.

Впервые за долгое время Иван искренне перекрестился. Окунь отступил, окончательно затемнился, а внутри стало так правильно и легко, что Иван улыбнулся.

— Сгинь, — сказал он.

Иван продолжил сидеть в секрете, превратившись в одни только чувства, как древние охотники из пещер. Где-то там, снаружи, бродили четырехглазые хищники, хитрые, с острым жалом, но они не пугали, а, наоборот, подзадоривали, упрашивали выйти против себя с обожженным на костре копьём. Внутри пел огонь и кровь кипела от мысли, что может быть пролита́.

— Смотри! — неожиданно прошептал Окунь.

— Что?

— Видишь?

Иван припал к мерзлomu краю. Взгляд его шарил в ночи. Вкопанные палочки намечали уходящую в степь тропу, где, замышляя недоброе, качалась трава.

— Что там? Что?!

Приклад ожигал щеку. Иван напряженно водил автоматом, когда Окунь со стоном привалился к стенке и стянул шапку. Иван тут же высчитал: сосед ранен чем-то совсем бесшумным, игольником из окопных баек, и уже был готов палить в темноту, когда Окунь блаженно запрокинул голову.

На лице застыла счастливая детская улыбка.

С неба падал первый снег. Быстрый и недолговечный, он сыпал мелкой удивленной крупой. Ветер заметал его под искореженный лист железа, в воронку с двумя людьми, и снег таял у Окуня на языке, будто не было в мире ничего непоправимого, ведь землю все еще мог укрыть кто-то любящий и терпеливый.

Снег шел и шел, сектор стрельбы пересекали снежинки, а Иван сжимал оружие и все вглядывался во тьму, пытаясь различить в ней врага.

Но там никого не было.

